

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ» «НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ»

Статья С. Борщевского

ЩЕДРИН О «ВРЕДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» В ЛИТЕРАТУРЕ

«Насущные потребности литературы» были написаны в связи с выходом в свет книги анонимного автора, озаглавленной «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати», и появились в октябрьском номере «Отечественных Записок» 1869 г. за подписью «С.». Документальных доказательств авторства Щедрина в отношении анализируемой нами статьи до сих пор не обнаружено. Что же касается литературных источников, то на принадлежность ее перу сатирика указывалось дважды: утвердительно, но без всякого обоснования — в редакционном примечании к одному из писем Салтыкова¹, и предположительно — В. Гиппиусом². Таким образом мы имели дело только с догадками, что разумеется было недостаточно для того, чтобы ввести названную статью в литературный оборот.

В предлагаемом вниманию читателей разборе мы попытались осветить этот вопрос возможно обстоятельнее, применяя тот метод доказательства, которым пользовались раньше при установлении принадлежности Щедрина анонимных произведений, т. е. метод текстовых параллелей³. Попутно, не выходя из пределов основной темы нашей работы, мы подвергли рассмотрению некоторые проблемы литературного наследия Щедрина, имеющие значение для характеристики его мировоззрения.

I

В первой части исследуемой статьи автор разбирает те обвинения, которые в 60-х годах реакционная печать предъявляла революционно-демократической литературе, инспирируя правительственные кары. Свой анализ он предваряет таким общим замечанием: «торжествующая легковесность» не только подозрительно прислушивается к независимому слову, но и «в самом молчании начинает видеть протест и заподозревает «вредное направление».

Это утверждение тесно связано с тождественными высказываниями Щедрина.

Так в пятой главе «Итогов» (1871), вообще говоря близкой по основной теме к разбираемой статье, Щедрин среди других определений понятия «анархия», даваемых «уличным ареопагом», приводит следующее: «Попробуйте вовсе устранившись от всяких непосредственных требований и вопросов, и вы наверное услышите: это он не спрашивает помалчивает! Это он замышляет анархию!»

Ту же мысль высказывает Положиллов в «Круглом годе» (глава «Первое декабря»), написанном десять лет спустя после «Насущных потребностей литературы».

«—Как еще на молчанье-то посмотреть! — подает он многозначительную реплику рассказчику, усомнившемуся в том, следует ли ему продолжать литературную

работу.— Все говорил да говорил, и вдруг — молчок! с какою целью?»

Здесь пока речь идет только о «вредном направлении» в литературе. Но «заправская действительность» конца 70-х годов побудила сатирика обобщить смысл частной ситуации. Обобщение это легло в основание одного из самых замечательных художественных произведений Щедрина — «Убежище Монрепо».

В этом произведении бездействует «герой» Щедрина — «культурный человек среднего пошиба». Он бежал от столичной сутолоки и угнетающей неразберихи, чтобы запереться в своем полуразоренном поместье и предаться «процессу умирания». Но «общественное мнение», официальная власть и служитель церкви — Разуваев, становой Градцианов и местный поп — не дают исполниться его желанию. Они донимают не ко времени воскресшего «лишнего человека» слежкой, судаченьем, неожиданными посещениями. «Я просто-напросто живу и ничего не делаю. Имею ли я право на это? В глазах закона я это право имею», недоуменно рассуждает «культурный человек». Однако Разуваев с помощью Градцианова и попа, в интересах своего «дела» отнимает у щедринского героя дарованное ему законом право безнаказанно бездельничать: он добивается продажи ему за бесценок бесхозяйственного поместья и лишает «культурного человека» последнего прибежища для невинных мечтаний... Размышляя о том, что дало повод «благонамеренным людям» окружить его недоверием, незадачливый мечтатель приходит к такому заключению: «Никто не мог ясно себе представить, зачем я живу, и вследствие этого многие думали и думают, что я злоумышляю...»

В этом по внешности простодушном замечании с предельным сарказмом выражена мысль, из которой мы исходили в нашем анализе. Но в «Убежище Монрепо» она получила углубленный смысл. От частного вопроса — преследование «вредного направления» в литературе — Щедрин пришел к выводу о «невозможности жить» в царской России и «благонамеренному», «ничего не делающему» человеку, если он неосмотрительно сдерживает свою «благонадежность» в пределах простого молчания.

Притязания «торжествующей легковесности» автор «Насущных потребностей литературы» формулирует далее следующим образом:

«Учение об авторитетах переворачивается вверх ногами: вопреки всем преданиям, не толпа идет за авторитетом литературы, но от литературы требуется, чтобы она шла слепо за авторитетом уличной недалёковидности, колебаний и переменчивости».

Несколько раньше, в 1868 г., Щедрин это констатировал в статье «Литературное положение» («Признаки времени»): «С некоторых пор, — писал он, — наше общество до того развилось и умудрилось, что уже не оно руководится литературой, но, наоборот, литература находится у него под надзором».

То же самое утверждал сатирик и в «Письмах к тетеньке» (одиннадцатое письмо — 1882 г.): «...Везде, в целом мире, — писал он, — улица представляет собой только материал для литературы, а у нас, напротив, она господствует над литературой».

На вторжение «улицы» в литературу Щедрин указывал и в самом начале 60-х годов («Сатиры в прозе» — «К читателю», 1862 г.). Изображая «умственный маскарад» в Глухове, «где нынче так сладко свищут соловьи-либералы», он писал:

«Литературная нива обмирдилась, литературная нива сделалась простым выгоном, на котором властительно выступают Ноздревы, Чертопхановы и Пеночкины. Ноздрев! ты ли это, топ cher? Если это ты, то почему ты смотришь таким Лафайетом? Или, по местным обстоятельствам, тебе выгоднее быть Лафайетом, нежели прежним сорви-головой Ноздревым?»

В 80-х годах («Письма к тетеньке») Щедрин вывел Ноздрева в роли редактора большой столичной газеты охранительного направления. Как достиг Ноздрев такого положения? «Штука в том, — говорит Щедрин, — что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, который сначала обратил на себя внимание охранительной русской прессы, а потом дальше да шире...» «Ноздрева провела в литературу улица...»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА
К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ
«ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОД-
ГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
«ACADEMIA», 1934 г.



Вот именно эту «улицу» имеет в виду сатирик, когда вслед за рассказом о «возвышении» Ноздрева с горечью констатирует ее господство над литературой. Щедрин не оспаривает права «улицы» на свою литературу. «Несомненно,— говорит он,— что вторжение в литературу ноздревского элемента не составляет для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно объяснить себе, что в этом факте нет ничего ни произвольного, ни неожиданного».

Но если Щедрин признает, что «улица имеет право на существование» и печать, охраняющую ее интересы, то почему же он восстает против господства этой «улицы» над литературой? Да потому, что защищает право другой социальной силы на свою литературу! Смешно претендовать на то, что «улица» владеет своей печатью и распоряжается ею по усмотрению. Но совсем не смешно, когда эта «улица» через охранительную прессу травит литературу социальных низов, близких Щедрину, и при помощи государственного принуждения властвует над ней с кнутом в руках!

Именно это имел в виду Щедрин, когда вслед за указанием на господство «улицы» над литературой писал: «Во всех видах господствует: и в виде частной инсинуации, частного насилия, и в виде непрекесомо-возбращающей силы».

Перед таким господством охранительной «улицы» над литературой Щедрин отступить не хотел и не мог, хотя «олимпийское величие теории» и побуждало его признать, что в данных условиях «должна (подчеркнуто Щедриным) господствовать публика подсиживания, сыска и клеветы». Сатирик оставил за собой право не только констатировать факты, но и разъяснить их, и в первую очередь показать, чьи интересы продиктованы принципы охранения, кого они защищают и кто подрывает их в действительности, провозглашая незыблемыми навеки.

Итак из отчетливого различения Щедриным в современной ему общественной действительности окрепшей «улицы» и нарождающейся новой социальной силы, которая «в смысле политическом и историческом считалась не имеющей рода и племени»¹, и двух классово враждебных литератур — дворянско-буржуазной и революционно-демократической — вытекает его требование, чтобы охранительная «улица» была «только материалом для литературы», а не господствовала над

ней. В этом требовании, сопровождаемом полемической ссылкой на «целый мир» выражалось стремление — под прикрытием лозунга о защите интересов всей русской литературы — отстоять свою независимость и право на охрану интересов угнетенных масс.

II

Сформулировав основные притязания «торжествующей легковесности», автор «Насущных потребностей литературы» дает следующую концентрированную характеристику «авторитетной слепоты», которой поражены алармисты и обскуранты:

«Идя огульно, слепо доверяясь одним внешним признакам фактов, они не могут обладать ни критериевом, при помощи которого раскрывалась бы внутренняя сущность явлений, ни возможностью делать из своих наблюдений действительно полезные и прочные применения. Истины, которые им известны, суть истины, добытые путем эмпирическим, истины бессодержательные, лишенные действительной достоверности и потому неприложимые ни к какому явлению сколько-нибудь сложному. Голая и грубая конкретность, наружный вид вещей, — вот материал для великого множества афоризмов, наполняющих сокровищницу практической мудрости».

Те же определения «ползучего эмпиризма», сделанные в аналогичной связи, с характерными текстуальными совпадениями, мы находим в ряде произведений Щедрина. Так в «Признаках времени» («Самодовольная современность», 1871 г.) сатирик писал:

«Первое и главное основание, на которое... опирается ограниченность, заключается в конкретности фактов, служащих для нее отправным пунктом... В чем же тут ошибка? Да в том именно, что конкретность фактов, подобных упомянутому выше [«Я счастлив, потому что не спорю с небесами»; «я счастлив, потому что не делаю набегов в область неизвестного»; «я доволен, потому что страдание и бедность, как общий вопрос, не смущают меня»], присуща только им самим и ни для каких обобщений повода не дает».

За этим следует одно из обобщений самодовольной ограниченности, основанное на уже упоминавшемся «споре с небесами». Щедрин имеет здесь в виду Парижскую коммуны, поражение которой приветствовалось почти всей русской прессой.

«Опираясь на успех недавней «борьбы с небом», она, с свойственной всякой азбучности манерой цепляясь за одни внешние признаки факта, прямо приписывает его спорам и несогласиям, присущим борьбе».

В пятой главе «Итогов» (1871) эта мысль выражена в сжатой формулировке, опять-таки целиком совпадающей с анализируемым текстом:

«Толпа обобщает с трудом, — читаем мы там. — Ей вразумительна лишь истина, основанная на грубейшем эмпиризме».

Определив типичные черты мышления «заурядного человека» как пресмыкательство перед единичными фактами и неумение объяснить их, наш автор последовательно анализирует его отношение к внешним переменам:

«Отсюда, — говорит он, — та горькая необходимость, которая заставляет неразвитого человека останавливаться в недоумении перед всяким новым явлением и заменять доказательства и выводы произвольными догадками и подоврениями; отсюда — сбивчивость и расплывчатость определений; отсюда, наконец, невозможность овладеть сущностью факта и произнести ему верную оценку. Слепота, нерешительность и страх неизвестного — вот неизбежные спутники умственной неразвитости. Но не голая слепота, а слепота авторитетная».

Некоторые положения комментируемого отрывка воспроизведены в первой главе «Итогов», посвященной саркастической оценке «мундирного возрождения» — пореформенного периода. Здесь Щедрин как-раз подробно останавливается на претензиях, предъявляемых людям, которые «проходят молчанием» «мундирные реформы». Молчание это выводит из себя и ретроградов, и либералов. «Какой из двух мундиров лучше?» настойчиво допытываются они, имея в виду упраздненное крепостное право и сменившее его

«возрождение». На допросы следует односложный ответ: «Оба лучше». Тогда на первый план выступает обвинение в какой-то «доктрине», и начинаются лихорадочные поиски ее.

Но «вещественных признаков, с помощью которых должно было бы определить, исконную доктрину, нет; руководящей нити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки,—тоже нет... И таким образом с полной ясностью выступает только одно—это чувство ненависти, которое всецело охватывает помыслы собирателя и которое заявляет о себе преувеличенными и совершенно произвольными заключениями».

Тревогу охранителей, усугубляемую неспособностью дать себе ясный отчет в терзающих их опасениях, Щедрин подчеркивает и в «Признаках времени» («Литературное положение», 1868 г.).

«Ежели они и подозревают,—читаем мы там,—что в движении мысли скрывается нечто для них зловерное, то подозревают это смутно; формулировать же... свои опасения не могут».

Приведенными высказываниями Щедрин еще не воссоздается однако полностью характеристика «заурядного человека», обрисованная в комментируемом отрывке. Существенные дополнения к ним содержатся в «Благонамеренных речах» (очерк «Охранители», 1874 г.).

«На стороне пошлости,—указывает там сатирик,—привычка, боязнь неизвестности, отсутствие знания, недостаток отваги. Все, что отдаст человека в жертву темным силам, все это предлагает ей союз свой. Заручившись этими пособниками и имея наготове свой собственный жизненный кодекс, она до такой степени насыщает атмосферу его миазмами, что вдыхание этих последних становится обязательным... И ежели она встречает отказ и сомнение, то это нисколько не заставляет ее вдуматься в свои требования...»

«Боязнь неизвестности, отсутствие знания, недостаток отваги» соответствует «слепоте, нерешительности и страху неизвестного» в комментируемом отрывке. О «страхах, составляющих неизбежную принадлежность невежественного и бессознательного отношения к вещам», и в частности о «страхе неизвестности», который внушает «уличным кумушкам» слово «ломать», говорит Щедрин и в пятой главе «Итогов». Этот же мотив звучит в приведенной выше декларации самодовольной ограниченности: «Я счастлив, потому что не делаю набегов в область неизвестного». Наконец в статье «Один из деятелей русской мысли» (1870), посвященной Грановскому, Щедрин выделяет боязнь «условий неизвестности», страх перед будущим как наиболее характерное переживание представителей «кастической», дворянской среды⁵.

Для полноты разбора комментируемого отрывка необходимо еще остановиться на афористически-жестком и ярком определении воинственности темного, невежественного человека, выраженном в словах «авторитетная слепота». В цитированных текстах Щедрина этому определению соответствуют указания на непререкаемость и обязательность нелепых суждений «улицы».

Автор рассматриваемой статьи однако не ограничивается простым указанием на обязательность суждений «заурядного человека». Он особо подчеркивает то, что придает этим суждениям силу приговора. «И вот эти-то люди, эти слепорожденные,—говорит он,—которые шагу не могут сделать в жизни, чтобы не запутаться, они-то именно и считают себя в праве предъявлять претензию, чтобы литература была не чем иным, как бессознательным эхом их мнений и убеждений. С первого взгляда такого рода претензия может показаться странною, но увы! если мы вспомним, во-первых, что невежество до сих пор составляет компактную массу, на стороне которой находится материальная сила, во-вторых, что невежество, выработавши известные истины, в которых, по его мнению, заключается «прочное, живое и верное» жизни, инстинктивно все-таки понимает, что это «прочное» способно разлететься при первом прикосновении к нему анализа, и, в-третьих, что разрушение этого «прочного», в понятиях людей неразвитых и недалеконзидных, непременно сопрягается с мыслью об ущербе для их благополучия,—то для нас сделаются понятными и те уси-

лия, которые предпринимаются для умерщвления свободы слова, и те нетрудные успехи, которыми эти усилия обыкновенно сопровождаются.

...Изрекая свои приговоры, самонадеянная легковесность руководствуется не рассудком, а инстинктами... Ей достаточно... самодовольно перечесть по пальцам бессодержательную номенклатуру того «прочного, живого и верного», которое составляет содержание уличной мудрости, чтоб улица всплеснула руками от удивления...»

Из данной характеристики следует, что на ступень «авторитетной слепоты» невежество возводится материальной силой и бессознательностью масс, не отдающих себе отчета в своих действительных интересах. Опираясь на насилие и темноту угнетенных масс, навязывают свою волю «слепорожденные», охраняющие неприкосновенность того порядка вещей, на котором зиждется их благополучие.

С художественной проникновенностью, хотя и в аллегорической форме, эту мысль высказал Щедрин в очерке «Легковесные», где он впервые запечатлел типичные черты «дворянского сына» — Митрофана. Этот очерк предваряет таким образом начало нового произведения — «Господа ташкентцы», в котором, по характеристике М. Н. Покровского, сатирик «с гениальной меткостью создал... тип наиболее реакционной формы государственного насилия»⁶. В «Легковесных» Щедрин подвел первые итоги «мундирным реформам» 60-х годов и пришел к выводу, что «клоп забрал силу» — восторжествовала реакция под самодовольное курляканье либеральных кастратов — «капулоны мысли», реформаторская деятельность которых выразилась в том, что они «с неслыханным трудолюбием... копались на всех задних дворах нашего отечества, отыскивая всевозможные нечистоты и полетоньку заглаживая и засыпая их песочком». Подвиги «дикого помещика», заявившего о себе уже в начале «великих реформ» и с особой разнузданностью — во второй половине 60-х годов, после каракозовского выстрела, сатирик рисует следующим образом:

«Я был однажды свидетелем редкого и потрясающего зрелища: я видел взбесившего клопа. В ряду вонючих насекомых клоп почему-то пользуется у нас репутацией испытанной и никем не ослабляемой благонамеренности. Оттого ли, что нравы этого слепорожденного паразита недостаточно исследованы и, вследствие того, он живет окруженный ореолом таинственности, мешающей подступиться к нему, или оттого, что мы видим в нем нечто вроде олицетворения судьбы, обречшей русского человека на покусыванье, — как бы то ни было, но клоп взбесился и никто из обывателей не только не обратил должного внимания на это обстоятельство, но, напротив того, всякий продолжал считать клопа другом дома. Можете себе представить, какую тьму народа перепортил этот негодный паразит... Он запалывал в тюфяки и перины беспечно спящих людей и нередко в течение одной ночи поражал ядом целые семейства. Десятки и сотни людей попадали бесследно, а клоп все не унимался, все жалил и жалил... Повидимому, стоит только протянуть руку, чтобы сделать клопа навсегда безвредным, но оказывается, что это совсем не так легко... Есть какая-то темная сила, которая бдит над клопом и препятствует протянуть руку именно в ту самую минуту, когда он наиболее вреден. И вот вонючий, слепорожденный паразит становится действующим лицом, и никто против этого не протестует! Мало того: он впадает в неистовство... и ему рукоплещут!»

Это яркое, эмоционально насыщенное изображение «клоповной необузданности», бешеного разгула «дикого помещика», приближается к анализируемому отрывку не только по общей направленности мысли, но, что самое важное, почти текстуально совпадает с ним в моментах, придающих особую силу и своеобразие характеристике реакции: «темная сила» соответствует в данном контексте «материальной силе», «слепорожденный паразит» — «слепорожденным людям», соответствие есть и в том обстоятельстве, что в сравниваемых текстах толпа выражает «слепорожденным» шумное одобрение.

Перейдем теперь к другим положениям рассматриваемого отрывка. Наш автор указывает, что «разрушение... «прочного», в понятиях людей неразвитых и недалеконравных, непременно сопрягается с мыслью об ущербе для их благополучия». В развернутом виде это положение выражено в статье «Один из деятелей русской

мысли» (1870), где Щедрин охарактеризовал типичные особенности идеологии помещичьей среды. Вот что он говорит там по данному вопросу:

«Каждый шаг вперед пугает ее... Не движение составляет ее интерес, а напротив того, охранение и застой... Чувство самосохранения хотя и не дальновидно, но очень верно подсказывало ей, что дремотность есть именно то состояние, которое наиболее соответствует ее выгодам»⁷.

Здесь мы снова отмечаем не только общность взгляда, выразившуюся в одинаковой оценке мотивов охранения существующего порядка вещей, но и характерное текстуальное совпадение в указании на недалекновидность охранителей. Что мы имеем дело не со случайным совпадением, видно из обоснования этого утверждения в очерке «Легковесные», где Щедрин подчеркивает бесплодность попыток охранителей «подвигами и насилиями» отгородиться от «области неизвестного» и замкнуться в «хрупких рамках», обреченных на слом. Свое рассуждение он заключает следующими словами:

«Таким образом, преследуя мечтателей, мы сами оказываемся мечтателями сутубыми, и к тому же мечтателями недалекновидными, трубыми и челепыми!»

Но произведенный анализ позволяет сделать и более широкий вывод: насильственное утверждение застоя как гарантия нераздельного господства над закабаленными массами, страх перед будущим, внушаемый «слепорожденным паразитам» инстинктом самосохранения, — такова классовая сущность охранения «известных истин», в которых по понятиям толпы содержится «прочное, живое и верное». Формула «прочное, живое и верное» — это покров, сквозь который просвечивает оскал пасти обреченного, но еще полного сил хищника...

Эту формулу Щедрин подробно рассмотрел еще до напечатания «Насущных потребностей литературы» в критическом этюде «Уличная философия»⁸, посвященном разбору «Обрыва», где Гончаров выдвинул ее в противовес «дерзкому отрицанию... небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков», отрицанию, исходящему от «нивесть откуда взявшихся новых людей — без имени, без прошедшего, без истории, без прав». Затем в продолжение многих лет сатирик возвращался к «уличной философии» автора «Обрыва», нигде, впрочем, не называя это произведение. Здесь мы остановимся только на тех высказываниях Щедрина, которые относятся непосредственно к самой формуле «прочное, живое и верное».

Упоминание о ней содержится в пятой главе «Итогов» (1871), при чем Щедрин подчеркнул здесь ее главный элемент — «прочность», довольно ясно дав понять, что он имеет в виду «материальную силу», т. е. государственный аппарат угнетения. Прозрачный намек на глашатая «уличных истин» — Гончарова не оставляет сомнений в том, что сатирик метил именно в формулу, заимствованную из «Обрыва». Этот полемический выпад выражен так: «Прочность, о которой так много вопиют мудрецы и руководители улицы, приобретает лишь тогда, когда приказательный характер авторитета заменяется характером естественно-обязательным».

Несколько лет спустя Щедрин отменил преклонение перед «прочностью» как основную черту молчаливства. В цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Господа Молчаливы», 1874 г.) он писал:

«Истинный Молчаливый... должен понимать, что увлечения несвойственны солидным людям, что действительную прочность в сей юдоли плача имеет только полная бессодержательность, и что, следовательно, лишь между категориями сей последней должен колебаться его выбор».

Таким образом мы устанавливаем, что в своих позднейших высказываниях об «уличной философии» Щедрин варьировал тезис, выставленный в разбираемом отрывке: «бессодержательная номенклатура... «прочного, живого и верного»... составляет содержание уличной мудрости».

Последний раз Щедрин упомянул о «прочном, живом и верном» устами Глумова в «Круглом годе» («Вечерок», 1879 г.). «Все стоит твердо, верно, несомненно» — это очевидная перифраза формулы Гончарова, в которой Щедрин выявлял присущий ей «приказательный характер» команды...

III

Не умея ясно формулировать подозрения, подсказанные инстинктом самосохранения, «слепорожденные люди» в своих обвинениях, предъявляемых литературе, выдвигают «не факты...», а «направление» — выражение в высшей степени растяжимое, способное вместить в себя всевозможные страхи, накопившиеся в груди каждого досужего алармиста... В глазах легковесности вся литература, за исключением тех ее органов, которые добровольно взяли на себя роль вместителей уличного праха, есть вертеп...

Это высказывание автора «Насущных потребностей литературы» представляет большой интерес в том отношении, что оно протягивает нить к «проказам будущего» одного из самых характерных персонажей «помпадурского» цикла — «помпадура борьбы» Феденьки Кротикова («Помпадуры и помпадурши», 1873 г.), который по праву мог бы занять почетное место среди градоначальников «Истории одного города». Этот щедринский герой, после того как «Франция подписала унижительный мир, а затем пала и Парижская коммуна», почувствовал себя призванным совершать подвиги и приступил к выработке грандиозного плана борьбы с крамолой. Следуя рутине, Феденька вначале «искал каких-то фактов», не подозревая, что «система фактов есть система устаревшая, что нарождается и уже народилась совершенно иная система, которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек...» Не зная об этом важном открытии, он топтался на месте, чувствуя себя в тенетах вражеской интриги. Но так как «новые вещи потребовали новых людей», то в минуту сильнейшей внутренней тревоги Феденька прозрел. Ему стало до очевидности ясно, что «не нужно... фактов..., а нужен только «дух», «направление», «превратные толкования...»

«Неблагонадежные элементы», против «направления» которых поднимает знамя борьбы Феденька Кротиков, по его представлению, возглавляются «коммуналистами»... из земской управы. В «Новом Нарциссе» («Признаки времени», 1868 г.) Щедрин бросает замечание, которое является исходным моментом для изображения «брёда борьбы», обывавшего Феденьку. Описывая в саркастическом тоне шумную вражду между государственными чиновниками и сеятелями, т. е. теми же «коммуналистами» из «знающих обстоятельства помещиков», он говорит: «какой-нибудь алармист, взвывая, как у иного сеятеля пена изо рта клубится, готов воскликнуть: «Пожар!»... Это замечание имеет прямое отношение и к следующему месту комментируемого отрывка: «Направление» — выражение в высшей степени растяжимое, способное вместить в себя всевозможные страхи, накопившиеся в груди каждого досужего алармиста...

Что касается указания нашего автора на то, что, по мнению «легковесных», «литература... есть вертеп...», то такое же утверждение мы находим в рассказе «Похороны» («Сборник», 1878 г.), в шестой главе «Круглого года» (1879) и др.

Как ни бессмысленны инсинуации «слепорожденных», отмахнуться от них невозможно: «легковесные» — сила. Поэтому приходится доискиваться смысла в их обвинениях, которых они сами связно формулировать не в состоянии, хотя «нет унижения более горького, как чувствовать, что гнет идет из ничтожества, и в то же время сознавать все бессилие освободиться от этого гнета». В основном, полагает наш автор, «дело идет об отношениях литературы к миросозерцанию, заветному преданию...» Это миросозерцание навязывают литературе две фракции реакционной партии: крайние реакционеры, которых наш автор (как и Щедрин в третьей главе «Круглого года») именует радикалами, и «люди соглашения».

«Радикалы, — говорит он, — как и всегда, откровеннее и в то же время последовательнее... Они не различают ни злокачественности, ни доброкачественности литературных направлений; по их мнению, все направления одинаково злокачественны, потому что все предполагают непремненное участие мысли. Мысль, каково бы ни было ее содержание, есть нечто разрушающее...»

На «миросозерцании, заветном предании», Щедрин останавливался неоднократно и именно в связи с темой комментируемого отрывка — «мыслелобызню». Так, обвиняя Гончарова в защите «уличных истин», он находил его «неловкий подвиг» особенно неуме-

стным в виду того, что «мы недалеко ушли от воззрений «Голубиной книги», и «с... неохотой расстаемся с воззрениями, завещанными нам преданием...» В первой главе «Итогов» сатирик подчеркнул, что господствующей в «обществе» «безвкусовой, бессодержательной трезвости» «сопутствует завещанная преданием заученность».

«Мыслебоязнь», выраженная в крайней форме — отрицания мысли вообще, тоже привлекала пристальное внимание Щедрина. В очерке «Легковесные» например его высказывание по этому вопросу полностью совпадает с комментируемым отрывком. «Всякая мысль, — писал он, — каково бы ни было ее содержание, одинаково противна золотнику уже по тому одному, что она мысль... Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые уравниваются перед безграничной злобой похотливой легковесности; все они подлежат преследованию и казни потому только, что напоминают о существовании ненавистой мысли». Наибольшее приближение к комментируемому тексту заключается в формулировке идеи романа Ключникова «Марево», данной Щедриным; в отзыве на другое произведение этого писателя — «Цыгане» (1871) он определил ее так: «мыслить не надобно, ибо мышление производит беспорядок и смуту»⁹.

«Люди соглашения» «полагают устроить отношения литературы к действительности таким образом, чтобы в них не заключалось никаких попыток к анализу, а тем менее к обличению, и чтобы дело ограничивалось пропагандой всякого рода отвлеченностей, которые возвышают дух масс и скрывают от их внимания те вопросы, которыми им не следует заниматься. *Que les méchants tremblent, que les bons se rassurent!* восклицают поборники соглашения... Кто эти «добрые»? Кто «злые»?..»

Тот же вопрос задает рассказчик в очерке «Он!!» («Помпадур и помпадурши», 1873 г.).

«В чем состоят «веяния» времени?

Que les méchants tremblent! que les bons se rassurent! Все это прекрасно, но кто же те «злые», которые обязываются трепетать? кто те «добрые», которые могут с доверием взирать в глаза прекрасному будущему?»

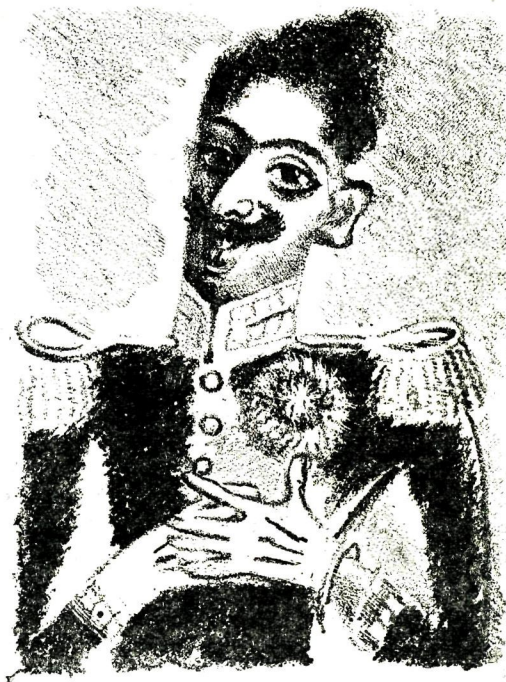


ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА
К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ
«ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОД-
ГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
«ACADEMIA», 1934 г.

Здесь мы имеем такое текстуальное совпадение, которое свидетельствует об одинаковой оценке не частного вопроса, а устанавливает тождество принципиальной позиции по отношению к господствующему классу, прикрывающему свои воцеления моральными категориями «добра» и «зла».

Между «радикалами» и «людьми соглашения», которые «смело обзывают друг друга либералами за то одно, что не подвергают мысль совершенному заточению», мечется литература, не желающая играть роли «вместительницы уличного праха». Единственная задача этой литературы — «исследование истины». Но именно такая задача и навлекает на нее гонения. Правда, закон прямо не воспрещает «искать и формулировать истину», не дозволяется только «проводить и формулировать заблуждения». Но на деле «испытующая мысль» объявляется злоумышлением, угрожающим всему обществу. Отсюда — преследование литературы «в серьезном значении этого слова» за «вредное направление».

Автор рассматриваемой статьи утверждает, что такой подход к вопросу основан на заблуждении... «Стеснениями, — говорит он, — мы не парируем никаких опасностей, а только отдаляем открытие истин и продолжаем ту нравственную и умственную смуту, которая, несмотря ни на какие карательные и предупредительные меры, не прекратится до тех пор, пока будет существовать естественная причина, ее поддерживающая... Памятуя, что жизнь сама приходит к постановке вопросов, из которых многие могут быть предвидены и подготовлены издавна, и что такая постановка, при исключительном участии жизни, не всегда обходится без потрясений, литература не считает себя даже в праве безмолвствовать, ибо подобное безмолвие противоречило бы ее... охранительной роли и тому значению высшего органа общественной мысли, которым она, по справедливости, гордится. Стало быть... свобода исследования не только не приводит с собой опасности, а, напротив того, предупреждает ее, давая возможность стоящим на очереди вопросам выработаться спокойно и разносторонне».

В приведенном отрывке останавливает внимание утверждение, что та часть литературы, единственная задача которой заключается в «исследовании истины», носит охранительный характер. Для того чтобы вскрыть подлинный смысл этого, на первый взгляд парадоксального заявления, мы прежде всего обратимся к диалогу между рассказчиком и Феденькой Неугодовым в пятой главе «Крутого года» (1879), посвященной вопросу о «вредном направлении» в литературе.

Очередной разговор с племянником Феденькой, который, несмотря на молодость, достиг довольно видного положения в бюрократическом мире, рассказчик вел в обстановке правительственного террора после покушения на царя в апреле 1879 г.

В такой обстановке вопрос о «вредном направлении» известной части литературы естественно выпячивался в самой угрожающей форме. «Нашлись охочие люди, — замечает Щедрин, — которые припомнили свои личные счеты и спешили дисконтировать их в форме извещений и угроз». Оставаться безучастным к воплям «доктринеров бараньего рога и ежовых рукавиц», возглавляемых сотрудниками «Московских Ведомостей» под водительством Каткова, было невозможно. И Щедрин выступил с ответом, который представляет блестящий «пасаж» в полемическом роде. Уточ, что в моменты серьезной опасности лучшим средством самозащиты является наступление, он произнес литературе панегирик, поражающий очевидным преувеличением ее роли. К числу этих явных полемических гипербол в первую очередь относятся его указания, что государство «немыслимо без литературы уже по тому одному, что самым происхождением своим обязано литературе», что литература есть «главная и единая, заключающая в себе неоскудевающий источник жизни» функция «общественного и государственного организма».

Такие заявления могли быть сделаны с целью всемерно подчеркнуть величие освободительной мысли и ничтожество ее «слепорожденных» палачей — идея, которая может быть уже в это время брезжила в сознании сатирика, прежде чем он воплотил ее в знаменитом «Разговоре Свины с Правдой», где речь также идет о «вредном направ-

ленин» в литературе («За рубежом», гл. VI, 1881 г.). Но, будучи актом самозащиты, эта декларация «права литературы на неприкосновенность», как характеризует ее сам Щедрин, имела свою опасную сторону. Охранители могли не заметить противоречивого смещения причины и функции в определении роли литературы, но провозглашение последней основой основ давало им возможность еще решительнее выставлять ее как причину «зла», и прежде всего, разумеется, — революционной «смуты».

Не избегая этого опасного пункта, а, напротив, с огромным воодушевлением выставляя его на первый план для укрепления своей позиции, Щедрин в подтверждение приведенных ранее доказательств «благонамеренности» представляемого им литературного направления несколькими словами очертил свою идейно-творческую позицию, в корне враждебную охранителям. Аргументация в опровержение «вредного направления» современной литературы была им развернута в такой последовательности.

«Ты ставишь вопрос прямо, — отвечал рассказчик Феденьке: современная русская литература подрывает основы, на которых держится общество... Подумай однако ж, нет ли тут смещения? Не приписываешь ли ты литературе то, что принадлежит самому обществу, или, по крайней мере, той его части, которой специально присваивается это название?.. Ужели литература... породила легионы сорванцов, у которых на языке — «государство», а в мыслях — пирог с казенной начинкой?.. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цепляется за известные факты, что она предвидит (подчеркнуто Щедриным) те волнения, которые она должна произвести в обществе, что эти волнения ей нравятся, одним словом, что не будь вмешательства литературы — не существовало бы ни вопросов, ни волнений... Но все это — ложь и явная клевета, и литература, выставляя на позор факты, которые так тебя поражают, не только не подрывает подрытого, но, напротив, пробуждает общественную совесть. Правда, что общество наше — лицемерно и посмеивается над основами «потихоньку»; но разве лицемерие когда-либо и где бы то ни было представляло силу, достаточную для существования общества? Разве лицемерие — не гной, не язва, не гангрена? Вот этого-то «права лицемерить» литература и не признает за обществом. Она говорит ему: или держись крепко унаследованных принципов, или кайся! По-моему, такие обличения имеют скорее характер охранительный, нежели разрушительный...»

Выслушав эти доводы, Феденька ответил следующее:

«— Я готов бы был сделать вам известные уступки, если б дело шло только о логике идей. Но есть логика фактов, *mon oncle*, и она-то заставляет меня быть осмотрительным. Перед фактами я немею, прихожу в ужас и забываю об идеях. Я понимаю защиту и логически не всегда вижу себя в состоянии опровергнуть ее; но в то же время и чувствую (подчеркнуто Щедриным), что в ней чего-то недостает, что она не вполне искренна и нечто скрывает. Ведь скрывает — не так ли, *mon oncle*?

Он так добродушно взглянул мне при этом в лицо и так мило похлопал меня по лence, что мне и самому невольно подумалось: а что, ведь, может быть, и скрывает?

— Может быть, может быть, друг мой, — ответил я, — ведь всего не сообразишь».

Мы привели это замечательное объяснение почти целиком как образец эзоповской манеры нашего сатирика. Особое внимание останавливает здесь двусмысленная реплика, как бы невзначай оброненная рассказчиком в завершение разговора о злоумышленных известной части литературы. Этой репликой Щедрин подсказал недогадливому читателю, что рассказчик действительно скрыл нечто от Феденьки и что именно в недоговоренной мысли заключается суть дела. К такому вспомогательному приему Щедрин вынужден был обратиться из опасения, что в своем опровержении «вредного направления» литературы он «перетонул» и может быть дурно истолкован читателем. Эта реплика — самое рискованное место в беседе, и то, как тщательно сатирик его обработал, видно из такой детали: он заставляет Феденьку заподозрить, что не рассказчик, а его защита «не вполне искренна и нечто скрывает», как будто она есть что-то отдельное от рассказчика, и тем самым дает возможность последнему «невольно подумать: а что, ведь, может быть, и скрывает?» Таким образом естественно производится замена первого лица третьим, что свидетельствует о крайней осторожности сатирика и

кропотливом взвешивании им каждого слова. Не случайно как-раз при переходе от уверения в охранительном характере литературы к этой реплике рассказчик, указывая Феденьке на тяжкое положение писателя, восклицает: «Помилуй! один аэоповский язык чего стоит! Подумай, как это трудно, изнурительно, почти погано! В состоянии ли ты оценить это?» Так через голову Феденьки «воспитанник цензурного ведомства» убеждал читателей поглубже вникнуть в потаенный смысл сделанного им заявления об охранительном характере революционно-демократической литературы.

IV

Что же скрыл рассказчик от Феденьки? Тот смысл, который он вкладывал в понятия «охранение» и «разрушение». В пятой главе «Итогов», написанной вскоре после падения Парижской коммуны и вырезанной цензурой из августовской книжки «Отечественных Записок» 1871 г., Щедрин высказался по этому вопросу с определенностью, не оставляющей места для сомнения. Ряд мыслей, содержащихся в «Итогах», изложен в «Самодовольной современности» («Признаки времени», 1871 г.), но тут он мог только намекнуть на свое отношение к Коммуне (в саркастических репликах по адресу «ограниченности», самодовольно заявляющей, что ей чужды «спор с небесами», «борьба с небом»), и вопрос в целом не получил ясного разрешения. В «Итогах» же определенность выводов обусловлена именно тем, что Щедрин здесь высказал солидарность с коммунарами, восставшими против «одичалых консерваторов». Такая позиция придала рассуждениям Щедрина об «анархии» и «охранении авторитета» тот конкретный политический смысл, который невозможно было замаскировать никакими ухищрениями отвлеченной постановки вопроса. На неистовые вопли об «ужасах анархии» и издевки над пораженной Коммуной, которыми почти вся русская печать выражала свои верно-подданические чувства «царю и престолу», как оплоту порядка, Щедрин ответил подробным разбором сущности этого «порядка» и собственным определением того понятия, которое охранителями всех мастей именовалось анархией. Основные положения его ответа сводятся к следующему.

«Что такое «анархия» в глазах уличной толпы? — ставит вначале вопрос Щедрин. — Анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание истины новой, уровень которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец, — это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия — это все то, что обуславливает движение, прогресс».

Борьба против «анархии» ведется под знаменем охранения «авторитета».

«Что же такое... «авторитет», об охранении которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек... Он незыблем, откуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни, но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани — ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет».

Отсюда Щедрин приходит к такому выводу:

«Следовательно, ежели перед нашими глазами, — говорит он, — происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не в праве видеть в нем ни «анархию», ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем... под предлогом упразднения бесчинств упразднить и самое развитие жизни!»

Чего же страшится толпа, что пугает «сонмища людей глупых и усердных, которые не

могут различить ни того, на чьей стороне находится их интерес, ни того, куда собственно клонится речь ловких людей, вопиющих об анархии?»

Их пугают «слова «ломать», «разрушать», «уничтожать»... Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устранением причин, его породивших. «Ломать» — это ломать, и ничего больше; вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности...

Жизнь... поступает целостью форм, завещанных преданием; она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени... Мешать ей в этом — значит... быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом.

Да, истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себялюбивые мечтатели при помощи горькой случайности одерживают в обществе верх, тогда действительно наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история. Замечательно, что никогда так называемые анархисты, т. е. сторонники прогресса, не действовали с такой ужасающей жестокостью, с какой всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одиальные консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизни, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны! И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен, пусть послужит он мерилom для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии.

Мы видим, как далеки высказанные здесь мысли от успокоительных заверений, сделанных рассказчиком Феденьке. Если же к тому учесть определение Щедриным (в письме к А. Жемчужникову) своей статьи, как «спокойной по тону», то нетрудно будет заключить, что и в данном случае мы имеем неполный набросок его взглядов. Но и сказанного в «Итогах» достаточно для того, чтобы стало ясным, какое содержание он вкладывал в понятия «охранение» и «разрушение». Защищая в литературе интересы тех масс, которые «в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени», Щедрин мог признать свою роль охранительной. Но его охранительная роль выражалась — и могла только так выражаться — в подрывании основ «анархистского», самодержавно-полицейского строя.

Как же выполнял эту задачу сатирик? Именно так, как объяснил рассказчик Феденьке: обличением «права лицемерить». «Разве лицемерие не гниль, не язва, не гангрена?» — допытывался рассказчик у Феденьки, становясь в позицию врача, озабоченного состоянием здоровья своего пациента. Что мог ответить на это Феденька? Ведь во всех прописях лицемерие не одобрялось...

Он промолчал. Не удовлетворило его и требование, выставляемое литературой: «или держись крепко унаследованных принципов, или кайся!» Но членораздельно и тут нечего было возразить: ведь общепризнанно, что покаяние очищает... Значит, оставалось заявить о своем недовении и начать сызнова: «С какого права ваша литература налагает на коренные основы нашей жизни? кто дал ей это полномочие? Кто разрешил ей в таком виде представлять семью, собственность... государство?» Но вооруженный

моральными сентенциями рассказчик и тут не затруднился: «Литература, — ответил он, — от самого господа бога снабжена всеми возможными полномочиями...»

Однако почему же грешникам не покаяться и тем самым не пройти, так сказать, курса литературы, ее нравственно лечебного цикла? На этот вопрос настолько обстоятельно ответил тому же рассказчику «Круглого года» Дерунов, что его простодушное объяснение приходится здесь привести лишь с самыми незначительными купюрами. Вот текст этого послания, великолепно характеризующего «рабью манеру» Щедрина:

«Прочитав вашу статью: «Первое августа», я с удовольствием известился, что вы собственность признаете, семейство приемлете, государство читите.

...Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоциант, ежели доподлинно собственность читит, обязан дела свои в таком виде иметь, чтобы ежечасно быть готовым во всяком рубле перед публикою чистосердечный отчет дать. Откуда тот рубль пришел и как составился? сколько в нем копеек законного прирбытка и сколько — прабежа? С одной стороны, не отрицая пользы, которая от такого чистосердечия произойти может, позволяю себе возразить лишь то, что, по званию нашему, одно что-нибудь: или дела делать, или отчеты отдавать. Ибо звание наше на этот счет довольно-таки строго, так что если нужное для операций время мы станем употреблять для чистосердечиев, то операции запустим, а чистосердечиями никому удовольствия не предоставим.

Второе, пишете Вы, ежели который человек свою собственность блюдет, тот должен и чужую наблюдать — то и сие весьма приятно. Но позвольте Вам доложить: ежели я буду о собственности публики скорбеть, то не последует ли от сего для меня изнурения? а равным образом не даст ли оно партикулярным людям такой повадки, что мы, дескать, будем праздно время проводить, а Дерунов за всех нас стараться станет? А награда — на небеси-с?

И еще замечаете Вы, что негоцианты, по роду своих занятий, больше в Кунавине, нежели в семействах своих время проводят, то и сие справедливо. Думается однако ж, что ежели мы оный род занятий покинем, то как бы нам, в ожидании других занятий, и вовсе при одном Кунавине не остаться.

Что же касается наставления Вашего, что необходимо первое всего отечество свое любить и в пользу оного жертвовать, то сие безусловно верно. И мы любить оное готовы, только не знаем как. Посему, если бы начальство нас в сем смысле руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежит, то, мнится, великая бы от сего польза произошла».

Так отвечал Щедрин Феденьке на его обвинение, что литература представляет в «гнусном-с» виде основы современного общества. Один из «столпов» этого общества — Дерунов — вмешался в их разговор и «по простоте» засвидетельствовал, в чем суть «логики фактов». «С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, должно признаться...» — это гениальное выражение целого «порядка вещей», в разоблачении которого сатирик видел единственный смысл своей литературной деятельности. Такое разоблачение основывалось на непризнании за «диким помещиком» и его собратом по «кровопийству» — вышедшим в «столпы» Деруновым — «права лицемерить», выгодного им потому, что оно помогало на «законном основании» держать в кабале и беспроектной темноте широкие трудовые массы. «Право лицемерить» являлось, таким образом, необходимой предпосылкой охранения основ. Вот почему Щедрин именно в эту сторону направил «оружие смеха». Срывая покровы с насилия, обнажая его, сатирик был разрушителем того «порядка вещей», который держался на угнетении масс кучкой «одичалых», и в то же время — охранителем интересов «обделенных, униженных, поставленных вне пределов истории», поскольку он доводил до их сознания, что те «основы», во имя которых над ними совершались насилия, попирались — и не могли не попирались — «дирижирующими классами»...

Таков подлинный смысл заявления рассказчика в «Круглом годе» об охранительном характере литературы, заподозренной во «вредном направлении».

В разбираемой статье аналогичное утверждение обосновывается иным образом. Вступая в защиту свободы печати, автор подчеркивает в своей аргументации два момента:

«Стеснениями мы не парируем никаких опасностей, а только продолжаем нравственную и умственную смуту...»

«...Свобода исследования не только не приводит с собой опасности, а, напротив того, предупреждает ее, давая возможность стоящим на очереди вопросам вырабатываться спокойно и разносторонне».

Эти доводы в соответствующих случаях приводил и Щедрин. Так например, во «Введении» к «Мелочам жизни» он писал: «...Ежели и справедливо, что утопии производили в массах известный переполох, то причину этого нужно искать не в открытом обсуждении идеалов будущего, а скорее в стеснениях и преследованиях, которыми постоянно сопровождалось это обсуждение... Самая наглядная очевидность требует, чтобы общественные вопросы всегда стояли на очереди и постоянно подвергались разработке». В «Письмах к тетеньке» (письмо одиннадцатое, 1882 г.) выдвигается тот же аргумент: «...Вопрос самый жгучий,— указывает там Щедрин,— именно тогда и утрачивает значительную часть своей жгучести, когда он подвергнут открытому исследованию...»

Щедрин в этом вопросе придерживался тактической линии Чернышевского. Возражая тем, кто «тревожится... относительно силы литературы производить исторические перевороты», Чернышевский указывал, что история зависит от литературы «не в сущности событий, а в их форме». «Дело не в том,— писал он,— бывают ссоры или не бывает их: это зависит об обстоятельств жизни... а не от степени просвещения; она определяет только то, какая форма избирается для ссоры: грубая или благопристойная». «Рассердится очень прубый человек,— он бьет в зубы того, на кого рассердился; если он немножко образован, он уже не станет драться...»¹⁰

V

К сказанному нам остается в заключение сделать несколько замечаний о второй части разбираемой статьи, в которой—посредством доводов от противного—устанавливается единство позиций «слепорожденных паразитов» и «легальности» по отношению к заподозренной литературе. Ряд высказанных здесь положений дословно совпадает с ответом Щедрина «Русскому Вестнику», озаглавленным: «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского Вестника» за 1862 г.»¹¹

Так например, касаясь указания «Русского Вестника» на то, что новые цензурные правила будут вводиться исподволь, Щедрин иронически писал:

«Что реформу предполагается произвести не сразу, а постепенно—это, разумеется, и правильно, и понятно... В этом отношении мы желаем только одного: пускай эта постепенность прилагается ко всем равно...»

Точно так же ставит вопрос и автор «Насущных потребностей литературы»:

«Свобода дается не сразу, а постепенно,—говорит он,—это правильно и понятно. Мы... не оспариваем принципа постепенности... но желаем только, чтобы он прикладывался ко всем направлениям одинаково...»

Указывая на то, что в «различных слабонервных кружках» раздаются голоса, предостерегающие от судебного разбирательства по делам печати, ибо «вчинание судебного иска против литературного сочинения есть дело рискованное», Щедрин в упомянутой статье комментировал это предупреждение таким образом:

«Очевидно, тут дело идет о какой-то осторожности..., которая ограждает саму преследующую власть от возможности неудачи».

В этом же разрезе обсуждается аналогичное предостережение реакционеров и автором «Насущных потребностей литературы».

«Алармисты утверждают,—говорит он,—что обязанность вчинания судебных исков против литературы делается или совсем невозможной, или в высшей степени рискованной. Поэтому, заключают они, может произойти что-нибудь

одно: или преследующая власть будет робка в своих действиях, или же она будет подвергаться беспрерывным неудачам...»

Подчеркивая, что в этих возможных неудачах правительственной власти «заключается не опасность для общества, а самая существенная гарантия его прогресса», наш автор саркастически замечает:

«Наговорить кучу грубостей и ругательств с плеча это совсем даже и не блестящее дело... «Пускай обвинители... в поте лица снискивают хлеб свой».

Этот же довод выставляет и Щедрин в указанной статье 1863 г. Считая, что открытое судебное разбирательство по делам о печати побудит царское правительство осмелительнее предъявлять обвинения и что «подобная осторожность... заключает в себе замечательную... для литературы гарантию», он обращался к прокурорскому надзору с ядовитым вразумлением:

«Ведь нельзя же так жить, чтобы все доставалось даром: желаете преследовать, ну, и потрудитесь».

Категорически отвергая преследование литературы за «направление», которое не должно подлежать «никакому другому суду, кроме суда литературы и науки», автор разбираемой статьи требует судебного рассмотрения явных преступлений, «совершаемых посредством печати».

«...Выход к легальности (не экстраординарной, а обыкновенной), — заключает он, — есть все-таки наиболее рациональный и наиболее обеспечивающий литературу в будущем».

Эту же позицию занимал и Щедрин в названной статье 1863 г. Не сходил он с нее и в восьмидесятых годах: в цикле «За рубежом» (глава третья) он попрежнему настаивал на судебном разбирательстве литературных дел, требуя, как и наш автор, чтобы «судьи были не сверхъестественные, а обыкновенные».

* * *

На этом мы закончим сравнение комментируемой статьи с произведениями нашего сатирика. Вывод, который мы считаем возможным сделать, проанализировав основные положения статьи, сводится к тому, что «Насущные потребности литературы» несомненно произведение Щедрина и должно быть включено в полное собрание его сочинений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма 1845—1889 гг. Под редакцией Н. В. Яковлева. Л., 1926, стр. 57.

² «Zeitschrift für slavische Philologie», 1927. Band IV. Doppelheft 1/2.

³ См. наши комментарии в книге: «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы». Изд. «Academia», 1934.

⁴ Какие новые социальные силы — в условиях русской действительности — особенно имел в виду Щедрин, указывается им в первой главе «Тихого пристанища», озаглавленной «Город». Здесь описаны купеческая пристань и тяжелая работа крестьян, приехавших на заработки из деревень. Вслушиваясь в «выстраданный, надорванный крик, вырывающийся с мучительным, почти злобным усилием, как вздох, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили и который между тем не находит в ту минуту средств отомстить за оскорбление», Щедрин замечает, что «в этом вздохе уже чувствуется будущая трагедия». Если мы вспомним, что в «Коняге» Щедрин изобразил безропотность русского крестьянства, то придется заключить, что здесь речь идет о тех его слоях, которые выталкивались «реформой» в города.

⁵ «Неизвестные страницы», стр. 154.

⁶ Покровский, М. Н., Марксизм и особенности исторического развития России, Л., 1925, ст. 130.

⁷ «Неизвестные страницы», стр. 154.

⁸ «Отечественные Записки», июнь, 1869 г.

⁹ «Неизвестные страницы», стр. 441.

¹⁰ Чернышевский, Н., Французские законы по делам книгопечатания. — «Современник» 1862 г., № 3. «Современное обозрение», стр. 145.

¹¹ «Современник» 1863 г., № 1—2.